

---

---

Андрей АНТИПИН

# ТЕПЛОХОД «БЛАГОВЕЩЕНСК»

Рассказ

## I

Жара. Голубая полуденная одымя. Мне кажется: нет вокруг ни леса, ни реки, ни неба, ни воздуха — одна сплошная пылающая лава. Земля выжжена и обезвожена так, что, наверное, кузнечик, спрыгнув с травинки, вздымает незримое облачко пыли. Лена усохла, облезла, высветилась на перекатах до дна. Тут и там оголились опечки, наперли ребра брустверов, и лавни — деревенские передвижные мостки из широких толстых плах с двумя колесами на конце — день ото дня выдвигаются все дальше в реку. На дворе первая неделя августа, а лиственницы по косоугору уже наливаются осенним воском, вянут листья на березах, тополях и осинах, ртутными столбиками горят стебли краснотала в поймах задыхающихся ключей и родников. В огородах отцвела и поникла картошка; пожухла, едва завязавшись, капуста; закручинились морковь и свекла в твердой корке земли, которую бабы перед поливом протыкают острой лучинкой, чтоб овощ вконец не загинул.

Все жаждет дождя!

Давно все грабли обращены зубьями к небу, а вилы опущены в воду: так, по примете, в старину ворожили ненастье. Но из района летят и летят безрадостные сводки. Пылают лесные пожары, деревню заволакивает удушливо-сладким дымом, и уже с раннего утра лютуют на улице черные тучи гнуса, выжитого из леса. Туда-сюда курсирует оранжевый вертолет, кружит над тайгой или осыпает Подымахино бумажными агитками «Берегите лес!». Листовки тут же уходят по назначению: ребята делают из них самолетики, старухи собирают для всякой хозяйственной надобности, а смуглые подымахинские старики, рассевшись в тени изб, мастерят из них злые самокрутки.

Когда земному терпению наступает конец и директор совхоза, пыля на своем «бобике», сообщает об очередных неутешительных прогнозах, старухи по сговору выволакиваются за ограды. Торжественно, точно это сверху послана им особая миссия, сменяют к реке, подняв над собой иконы Николая Чудотворца и Марии, матери Божьей.

— Я как полы помою, у меня иной раз под порожком отсыревает, — для проформы беседуют о пустяках, возбужденные грядущим таинством. — Вода закатится и другой раз высохнет, а когда — не сразу. Я на доску-то наступлю, и если брызнет из-под по-

---

Андрей Александрович Антипин родился в 1984 году в селе Подымахино Иркутской области. Выпускник факультета филологии и журналистики Иркутского государственного университета. Автор книг: «Капли марта» (повести и рассказы) и «Житейная история» (роман), а также публикаций в периодической печати. Живет в поселке Казарки Усть-Кутского района Иркутской области.

рога — к дождю. Вот сколько раз так было! — божится. — А нынче два раза брызгало — и ничего.

— А у меня если костка заболит на руке, вот в етим месте, — старуха показывает на изгиб кисти, — то дождь пойдет, — и кивает, убеждая, седой головой.

Слушив с себя яркие ситцевые платки и простенькие повседневные платья в пятнах от свежескошенной травы, старухи, чертыхаясь на камнях, забредают с иконами в Лену.

— Баба сеяла горох и сказала деду: «Ох!» — протараторив детскую считалочку, окунаются по горло. Они смеются, охают, кричат, толкают друг дружку на глубину. Тут как тут и ребяташки: стоят поодаль, удивленно сопят в обе наветренные шморгалки, не решатся подойти к старухам, которые еще полчаса назад караулили их в малинике, а сейчас барахтаются в реке, выставив на обозрение всему свету желтые животы и квелые, словно брусника в ноябре, груди.

С угора наблюдают любопытные старики, комментируют для потехи, отвлекают от священнодействия.

— Веселей, Анна, загребай! — подзуживает Иванов, далеко раньше времени вступивший в ряды деревенских старожилов. — Во! Отгребись на фарватер и заводись. Да шпонку не сорви... Ну куда тебя кренит-то?!

— А ты пошто оробел нынче? — в тон ему отвечает белозубая бабка Аня, местная ворожея, самускатель на заплыв с иконами. — Пошел бы да поддержал!

Картинно всплеснув руками, Анне хрипло возражает высокая бабка Маруся, отчаянная матерщинница и единственная среди старух курильщица:

— Ты кого выдумывашь, девка?! — Бабка Маруся, тая лукавую улыбку, смотрит на Иванова, на Анну. — Он имана своего в руках не удержит, не только что...

— Шмеля тебе под подол, долговязая, за твой поганый язык! — обижается Иванов, ищет в карманах курево, огрызаясь на подковырки других стариков.

— Ныряй, Маруся, топориком, да Миколу не потопи: Бог враз пензии лишит! — чадит самокруткой старик Шишкин, хорошо пьяненький по случаю субботы.

— Сам не сплошай, а то сидишь, в штаны напрудил!

На то Шишкин степенно замечает:

— Тебе-то что? Легла на грудя — и плыви хоть в Якутска...

С другого фронта — от избы Валерки Лабы по кличке Бай — мужики смехом давятся. У них своя вера: сботали сетью ведро ельцов и окуней, сменяли у бабки Анфисы на водку. На глазах всей деревни соорудили «круглый стол», перевернув огромную деревянную бобину от электрокабеля. Гулеванят на лужайке, на самом пекле, — кусок хлеба да шмат оплавленного сала, пустые бутылки в крапиву так и свистят. Глядя на старух, водит осовелыми глазами Петька Яковлев, включенный от неудобного сна за столом. Гудит, сложив руки наподобие рупора:

— Итак, очередные зональные состязания по гребле с голыми титьками объявляются открытыми! У-ура-а, товарищи!

— Но-о, ишо один! — гневно плюется бабка Аня. — Балаболка! Че скажет — как в лужу бйзнет!

— Прикрой, Петька, мотню: мошки хозяйство нажучат! — Стоя по грудь в воде, бабка Маруся плещет на лицо и довольно покрывает.

Петька не спускает:

— Под первым номером — тетка Маруся, неоднократная победительница деревенских соревнований в беге за «катанкой»...

— Постыдился бы так говреть-то, Петро! Не ровня тебе, как-никак! — стыдит бабка Варя, мелко потрясая контуженной головой; почерпнув, отхлебывает из ладошки. — О-о, сразу как опеть родилася! Вот что значит — своя...

— Попей-ка ее, родимую, ишо не то сболтнешь! — возвращаясь к разговору о Петьке, низким грудным голосом басит бабка Аня, с напором, как молодая, бродясь против течения.

— Осторожно, русалочки! — гогочет Петька. — Там у Каторги сеть. Запутаетесь по самые жабры...

— На сколь она у тебя, Серьга? — со знанием дела уточняет Толя Нос, надвинув едва не до бровей фирменную темно-синюю бейсболку «Речфлот» с широченным козырьком, затемнившим половину лица. — Ельцовка?

— Сороко-овка.

— Бабка Варя проплыве-от! Ее ряжем надо. Или корчагой!

— Смех-то смехом, а у меня ерш в пятидесятку попал! Расшиперился во так вот в ячее...

— Расшиперишься тут! Моя, вон, в погреб полезла вчера... Я, главно, все лестницу починить собирался!

— Бессовестные! Все мужики на покосе, а оне...

— А они «катюшу» понужают! Скуснатища-а — во! — скаля зачифиренные зубы, Катарга — хозяин бобины — глухо, почти беззвучно смеется; поднеся к губам заветный стопарь, опрокидывает в себя и долго — отрешенный — сидит с закрытыми глазами.

— Имеем право! У меня, главно, зуб ноет — всю щеку растарабанило...

— Душа у тебя, у пэдлого, не ноет?! Картоха вся как есь зачйчерела! Че исти зимой будешь?!

Все на мгновение замолкают.

— Мы небо размачиваем! — нагло заявляет Нос и, кивнув мужикам, вынимает из травы еще одну, срывает зубами чеку-заглушку из мягкой золотистой жести. — Размочим — и дождь пойдет...

— Пойдет-пойдет! — поддакивают друзья-товарищи, деликатно подставляя стопки.

— Имя хоть в глаза сси — все божья роса! — отмахивается бабка Аня.

— Нет, бабульки, — не унимается Петька, промакивая рукавом залитый теплым угарным потом лоб. — Навострите локаторы, я вам щас анекдот расскажу! Короче, приходит старуха к гинекологу...

— Эх, поглянулось — хорошо! Давай-ка, батенька, ишо! — как черт из бутылки, наперед Петьки выскакивает лысоватый Бай.

Петька с сожалением, как на блаженного, смотрит на Бая, который по-гусиному вытянул шею и, ожидая реакции, скорчил обметанное колкой щетиной лицо.

— Но-о, сморщился, как кобыльля срака! — устав перепираться, отворачиваются старухи.

Накупавшись, омыв иконы да сотворив с запинками молитву, сотканную общими усилиями из детских воспоминаний, старухи устало тащатся домой, хлюпя мокрыми тряпичными тапочками. Старики провожают их сочувственными взглядами и, что-то доказывая друг другу, тычут в небо жилистыми кулаками. Мужики — помалкивают.

А дождя все нет. Нет ни к вечеру, ни на утро следующего дня...

## II

Банным теплом дышат в лицо мертвые чабрец и волоснец. Пахнет смородиной и дымом. В воздухе сухая едкая пыль пошевеленного сена, и от нее спину и плечи жжет так, словно уронили в крапиву. Я то разболокаюсь до трусов, то снова оденусь. В одежде жарко, а без нее и вовсе худо: оводы осаждают голое тело, розовыми волдырями вспухают укушенные места, в ранки сочится соленый пот, волдыри огнем го-

рят и предательски чешутся. А тут еще мошка дает жизни. У меня все глаза красные: мошка то и дело забивается под воспаленные веки, и я тру глаза наслонявленным пальцем или концом выпущенной рубахи. Да только все без толку. Едва вынешь пронырливую тварь из одного глаза, как в другом уже все три. До чего много мошки на Лене! Чуть ворохнешь граблями вчерашнюю кошенину, как тут же взвизывает тучей и глазам делается темно. Тогда хочется упасть ничком в траву и лежать, не шевелиться.

Но лежать нельзя: после обеда ставить сено. Его много сбрили в три литовки дед, отец и Мишка.

С утра, по росе, косили у ручья, где кончаются наши владения, дожали полянки, полные густой высокой травы, спутавшейся и полегшей набок. Теперь косы отдыхают в кустах. Осталось высушить да скопнить скошенное, и можно считать, что на Дресвяном ручье управились. Но уже завтра-послезавтра мы уйдем ниже по реке, на Перевес. Там пабереги не меньше, а в култуке ждет не дожждется осока, которую мы запасаем скоту на подстил. Это, пожалуй, самая трудная работа. От нее тупятся косы, точно они не отлиты из стали, а вырезаны из консервной жести, и руки, метающие тяжелую, всегда будто сырую осоку, вспухают жилами и через час-другой «отстегиваются».

Дождь бы, что ли, пошел!

Но в небе ни тучки. Небо прозрачно-голубое, полосками желтой фольги блестя в нем солнечные лучи. Вот высоко над лесом показывается ясный, словно вычерченный на ватмане, силуэт ястреба. Он парит, высматривая добычу, и некоторое время реет у нас над головами, но попадает в золотую клетку и — ослепленный — цепенеет в воздухе, а уже через миг взмывает еще выше и оттуда стремительно пикирует на крутую отвесную сопку, сидит выпуклой ржавой точкой на облезлой сушине... Не к не-настью ли?

Прошлым летом в разгар сенокоса рухнули затяжные ливневые дожди. Ошалевшая брюхатая Лена по-весеннему захлестнула паберегу, налилась всклень, затопив низины и подоткнув угоры. Разбушевавшимся потоком подмыло и поволокло стоявшие у реки копны и зароды, они застревали на отмелях, цеплялись за бакены, размывались по прибрежному ольховнику, ветки которого торчали над глинисто-мутной водой. Плевались да костерили небесную канцелярию старики, когда мимо Подымахины проплывали копны добротного нынешнего сена, а жирные черные вороны, сидя на остроинах, как на шпильях затопленных куполов, каркали громко и жутко. Нежданная мокреть как наказание небесное многие семьи заставила взяться за нож, к зиме не одну красную кровяную шкуру откинули на заплот раньше земного срока. Наше сено стояло ближе к лесу. Языки воды едва приблизились, как в небе наконец разъяснело и бешеная пена потекла обратно в русло. Однако совсем без последствий не обошлось. Дождями, лившими больше недели, едва не до середины проклевало наши копны, как бы ладно они ни были завершены. Мы отложили косьбу и принялись разбирать, сушить и снова метать. Всех чертей обругали, когда, оступаясь на вырубленных в глине ступенях, перетаскивали сено на угор, опасаясь повторного наводнения. Много сена погнило, да и то, что спасли, перемежалось прелыми червоточными ключьями и воняло белой плесенью. Но хотя все это еще на памяти, не забылись и, наверное, не скоро забудутся те надсадные дни, я никак не могу себя побороть и нет-нет да вызрюсь в небо с надеждой на маломальскую весточку о будущей непогоде...

Рядом гребет мой дед. Ему под семьдесят. Колючая, с сединой, щетина покрыла черные от солнца и старости щеки. Голова не то чтобы плешивая, а жидковолосая: как овцу, остригла его старшая дочка. «Тут иман, там иман!» — охарактеризовала стрижку бабушка. Вот дед кладет грабли и, выудив из кармана скомканную косынку, постарушечьи обвязывает голову, затянув узелок на лбу. Гребет он без спеха и с величай-

шим знанием дела: с горки в низинку, не к кустам, а от кустов, где нет завети и солнце жарче, и все строго в линию, вдоль Лены. Такие валки чем удобны: зайдешь с одного конца, пропорешь вилами и пыхтишь, буровя в кучу, пока, как говорит дед, «из заду не подастся». Временами старик с отчаянием трет глаза и материт правительство. Мне это смешно, хотя и не совсем понятно. Я поглядываю на старика в надежде, что мошка загрызет его до смерти и он скомандует перекур (верховодит на сенокосе дед), но старик, как заведенный, шерудит и шерудит граблями.

— Дед, а дед!

— Но-о?

— А почему ручей — Дресвяный?

— Деревня тут раньше стояла, — дед запямятовал, что и вчера, и позавчера я уже спрашивал его об этом. — Она-то и называлась — Дресвяная...

— А деревня почему называлась Дресвяной? Может, как раз наоборот: деревню так назвали, потому что ручей — Дресвяный?!

Вот уже несколько дней кряду я умышленно пытаю старика подобными расспросами, как будто это он виноват, что жарко и на лугу тьма-тьмушая жручей мошкары. Дед отмалчивается, делает вид, что не его милости касается, но мне от него ничего и не нужно! О том, что здесь была деревня, я знаю и сам, ведь все об этом говорит, и пуще всяких слов — камни, ни с того ни с сего возникающие в траве, хотя мы каждую весну чистим луговину. Ну или вот еще — черное обгорелое бревно, обглоданным позвонком какого-то древнего животного упокоившееся на дне Сенькиной ямы...

— А почему яма называется Сенькина?

— Потому что Сенька возле этой ямы косит, — не переставая работать, по-прежнему негромко, повествовательно говорит старик, и сказанное им мне также известно. Только для меня уже неважно, кто такой Сенька и где он косит траву! Сенькина яма для меня — это яма возле бревна, на котором я два лета назад проткнул вилами спящую гадюку. Но именно поэтому и завтра, и послезавтра, и через много-много лет, когда замолчат слова и изыдут с дресвяновской луговины последние камни, я буду помнить и всеми позабытого трудягу косаря, и полусказочную деревушку, и своего покойного дедушку, которого я когда-то без малейшей жалости допекал расспросами. История окружающего мира начинается для меня — с гадюки...

У кустов, поодаль, ворошит отец. Он раздет до пояса; спина — словно смазана свиным салом; ремень скоробился и засох; штаны — в белых соляных разводах. На спине у отца — семь оводов, которых у нас кличут плевками. Только он, по-моему, их не замечает, стопоря работу лишь затем, чтобы протереть залитые потом очки. У отца самые большие валки. Он ценит все державное и могучее. Он видит в этом залог благополучия. Дед, в свою очередь, видит в этом халтуру и, брызжа слюной, внушает нерадивому, что толстые валки не просохнут. Закипает перепалка, но лишь на мгновение: жарко. У отца в руках грабли — хоть к трактору подцепляй! Эти грабли с тайной усмешкой изготовил для него дед. Другие, сотворенные под неспешную стариковскую руку, отец через день-другой попросту крушил.

— Сдуру знашь че можно сломать? — выдавая эти грабли, глубокомысленно спросил дед.

Хрясь! Сухой треск! Отец зарочил грабли за смородиновый корень и сломал деревянный зуб. Дед громко матерится и одну за другой высмаркивает ноздри.

— Ми-иша-а-а! Наладь этой чуме, у меня уж сил нет глядеть на все это!

Вот и выкроилась минутка для отдыха! Можно посидеть, посмотреть, как брат Мишка выстрегивает из деревяшки новый зуб и вправляет вместо старого.

— Потянет! — Мишка подает отцу «вылеченные» грабли. — Ты это, папаня... это ж не борона!

С Мишкой у нас разница в десять лет. Он минувшей зимой вернулся из армии. Два лета Мишка не косил, соскучился и теперь работает в охотку. Недавно я с удивлением заметил, что мы с ним совсем не похожи: он русый и кудрявый, а я — почти черноголовый, и волосы у меня не в смолевую витую стружку, как у него, деда или отца, а — прямые. У Мишки кожа белая круглогодично, а я зимой смуглый, а уж летом — как негр. Он — в бабку по отцу, я — в бабку по матери. Но я во всем подражаю брату, поскольку все у него лучше: и коса, и грабли, и самодельный нож в кожаных ножнах на правом боку. И косит, и гребет он баше всех! И я тоже мечтаю научиться косить так, чтобы трава, как по заказу, падала в один аккуратный ряд, и сгребать, не оставляя ни травинки. А нож на боку у меня есть: чехол из кирзового голенища, а рукояткой исправно служит резиновая велосипедная «газулька».

Мишка — самостоятельный человек, что хочет, то и делает, и даже дед ему не указ. Захотел по-маленькому — пожалуйста, бросил грабли поперек вала и, повернувшись спиной, льет на кусток шиповника. И пыльные, квелые от жары листья на глазах становятся ярко-зелеными, разве что кое-где уже видны желтые раковинки-проедины, словно прожгли лупой.

— После картошек пойдем на Талую...

Забыв о жаре и гнусе, с жадностью ловлю каждое братово слово. О, какое по счету лето мы вострим лыжи в верховье речки Королихи, которая и зимой не замерзает, отчего и носит красивое имя — Талая! Одно время я был слишком мал, чтобы осилить двадцать с лишним километров таежного бурелома, но вот я подрост (глядите, как я подрост!), а Мишку как раз и забрили в армию... Мне часто снится: ломовой черноспинный хариус с золотистым подбрюшьем сыграл из-под коряги на «морковку» — оранжевую шерстяную мушку с рыжими усами из ондатрового волоса — и, засекившись, бодается, ходит в глубине серебряным колесом.

— Ленок с хариусом в конце сентября скатываются в Лену, — дразнит, говорит дивное Мишка. — Покараулим на ямах с удочками...

— А ружье возьмем?!

— Возьмем! Ты, главное, гребни...

Только огромным усилием воли стискиваю челюсти, чтоб не зареветь на весь луг в первобытном восторге, не встать на уши и не пойти на голове, рискуя вызвать на себя немилость деда.

### III

Огненный циркулярный диск натужно вращается в небе, приводимый в движение ремнями лучей. Через минуту-другую, распилив небо, он перекусит и луг, и меня своими острыми клыками. Цежу сквозь плотно сжатые — чтоб не проерышилась мошкара — зубы:

— У-у, чтоб тебя разорвало!

От жары обмякли резиновые сапоги, в которые натряслось и колется сено. Совсем никудышная для покоса обувка! На что тяжелы кирзухи, а и в тех намного вольготнее. Дед, отец, Мишка носили уже не по одной паре, а у меня кирзовых как не было, так и нет. Все лето хожу в резиновых, которые с утра обороняют от росы, а в прочее время разъедают ноги жаром и потом.

— Так в резинках и помру! — бросаю камешек в отцов огород. — Другие-то ребята, посмотришь...

— Сдадим осенью картошку... — привычно отбодряется отец и, сняв очки, напряженно смотрит на дорогу. — Вернулся... сборщик!

От ручья идет-прихрамывает дядька Николай — средний дедов сын, отцовский погодок. Он приплыл с нами, чтобы набрать по холодку кислицы, а после обеда помочь с сеном. Поравнявшись, дядя Коля ставит ведро и садится в тенок под кусты. Ведро крепко-накрепко, как дедова голова косынкой, обвязано куском наволочки. Однажды, возвращаясь с дальнего бора, дядя Коля оступился, ухнул кубарем вниз по тропе и посеял в заламах почти всю свою четырехведерную торбу. И все из-за того, что поленился притянуть крышку! Теперь дядька осторожничает и, даже когда идет по грибы, не забывает о спасительной тряпице. Ягоды не видно, но по тому, как вздулась ткань, можно догадаться, что ведро полно красной рясной смородины. Дядя Коля умеет брать ягоду! Даже удивительно, как с такими большими, как у него, руками можно так проворно работать. Сколько я ни гнался за ним, все попусту: у дядьки уже на три ладони, а у меня едва закрывает донце.

— Пари-и-ит седня, — говорит дядя Коля, утираясь внутренней стороной парусиновой кепки.

— Сорок два в тени, — осведомляет отец. — Сводка пришла — сорок пять ожидается.

— Сколь?! — не верит дед.

— Сорок пять!

Дядя Коля сокрушенно качает головой.

— Чокнешься! — Я упал в заросли крохоблики и оттуда равнодушно слежу за разговором.

— Не в том дело, — поучает дед. — Картохе наливать надо, а земля — пыхун... Что мы исти будем?!

— Дак вот, — вздыхает дядя Коля. — Хлеб на корню осыпается — Сергей Петрович говорил... — Внезапно он оживляется: — Городские накатили! Мужик с бабой и ребяташки ишо. Мужик-то с пацаном рядом с машиной стали брать, а она потащилась с девчонкой к дальнему кусту... Помнишь, Миш, мы там собирали с тобой, года три, однако, назад? Где Юрьев-то косит, вверх по ручью? А там уж я сижу! — Дядя Коля загодя хихикает. — Смотрю: идут. А на кусте я-а-га-ды-ы! Красно! У меня уже почти полведра было. Ну, я давай ветками шуметь. Девчонка услышала, тянет мать за рукав: мол, пойдем назад. А эта нет, прет! Я опять трещу ветками и носом — швырк! швырк! — нюхаю громко. Они: «Медве-едь, медве-едь!» Пале-те-е-ла она, чуть в штаны не наклала, девчонка позади нее! А я ведро добрал и по ручью спустился к Лене. Тут только на дорогу вышел...

Дядя Коля смеется, оскалив белозубый рот.

— Уехали? — Дед недовольно смотрит на сына.

— Кто?

— Городские-то. Про кого говорим?!

— Уехали...

— А машинешка какая у них?

— «Нива». Красная.

— И машина у людей есть, по какой, спрашивается, им эта ягода?! — Дед никак не может этого понять. У него не укладывается в голове. — Или брали бы тогда где-нибудь поближе, неужто нельзя? За столько километров едут... А бензин сколь стоит?! Где интересуюсь, люди деньги берут?

— Дак вот... — дядя Коля грузно поднимается, чтобы отвязаться от старика. — Пойду чаю сварю! Сено-то почти сухое, — пинает валок. — Через час совсем дойдет. Только у ручья — сырое...

— А мы его на верхушки! Там не загорится.

## IV

Грабли то и дело валяются из рук: занемев и став как будто чужими, пальцы уже с трудом держат отполированное до золотистого мерцания древко...

«В сущности, кто я такой тут есть? Младший помощник старшего конюха?!»

Сначала я ворочал, убирая из травы, принесенный половодьем хлам; потом — стерег, как собачонка, лодку с мотором, когда уходили косить или копнить далеко от реки, в култук или к ручью; затем мне вручили вилы: «Раскидывай валки, чтоб скорее сохли!»; прошлым летом дослужился до граблей. И только на тринадцатом году (в кои-то веки!) выклянчил наконец косу...

Еще весной я воровски заглянул под высокую крышу дедовского амбара и обомлел: косовища заставленных за перекладину литовок свисают в сумраке, как деревянные сосульки! Мою ершовую душонку настолько поразили несметные богатства старика, что я бросился искать пути для его раскулачивания. И вот перед нынешним сенокосом непреклонный дед, подточенный моим нытьем и неустанным ходатайством бабки, извлек из амбара небольшую легкую литовку и под пристальным вниманием двух настороженных глаз насадил на косовище.

— Где у тебя пуп?

— Там же, где и у тебя! — со смехом ответил я глупому старику.

Дед посмотрел на меня так, как если бы ему стало жаль косы.

— Я ладом спрашиваю! — наспил брови. — Так же и отвечай мне... А ну-ка!

Даваясь от смеха, я задрал рубаху. Прижав пятку косы к земле, дед подогнал березовую рукоятку с моим пупком вровень и застопорил веревкой, намотав ее восьмериком.

— Учись, пока дедушка жив. Отец-то у тебя — только с перфельчиком по деревне бегать...

— А не надо писать?!

Вечерами, когда мать процедит молоко, отец, постелив на стол газету, сидит в кухне, опустив кудрявую голову, и что-то царапает в школьной тетрадке, наутро отсылая написанное в город с водителем рейсового автобуса.

— Поможет это, что ли то, деревне-то?! Когда — все...

— Ну, косарь, косарь, етти вашу мать! — смеялась бабушка, когда на другой день со сверкающими глазами я пошел на покос, по примеру старших небрежно закинув литовку на плечо. Затворяя за нами ворота, шепотом наказывала старуха, зная, что на лугу никто словом не поможет, скорее подзатыльников наваляют: — С плеча, парень, не бей, а так эт заводи от себя — и пошел, пошел! Главню, не торопись. Литохка — она сама косить научит...

Я был поручен Мишке, поскольку своего точильного бруска мне не доверили («Лапы обрежешь!»), и лопатить мою литовку должен был брат. Для начала мне разрешили обкашивать у кустов, вдоль дороги, — и я исправно сшибал мураву, серным сполохом на спичке черенка мелькало кривое лезвие косы. Да недолго длилось мое счастье! Пару раз врзал о камень, а дед уж на попятную:

— Добрую литовку угробишь! Никого в меня нет... — и отобрал косу.

А виноват я был, что не выжгли паберегу по весне, как путные-то люди делают, и косу вязала спутавшаяся летошня отава, в которой ни черта не видно?! Отец вон сколько литовок ухандакал, пока мало-мало косить научился...

Как бы там ни было, но вот я снова приставлен к граблям и лишь иногда получаю разрешение сделать прокос-другой. Но только, конечно, это совсем не то, что иметь собственную косу!

«Возьму и сломаю черенок! Интересно, что будет? Дед, пожалуй, так заорет, что в деревне повесятся собаки...»

## V

В полдень старик прислоняет грабли к березе: шабаш.

Швырком бросаю своих деревянных мучителей и, сдернув одежду и сапоги, с разбега ныряю в Лену, как в голубой сугроб. Ухожу с головой, чтобы сразу смыть пыль и пот, напиться, насытить пересохшее горло. О, я полдня пекся на лугу под раскаленным солнцем, обгорел до малиновой красноты, запорошил волосы и уши затхлою пылью, до крови расцарапал тело, которое жалили пауты! Но вот, как в награду за муки, речная благодать берет меня под ребра, несет на влажных руках, затекает под мышку скользким языком...

— Кто без штанов бежал в кусты? — отфыркиваясь, кричу во всю сырую отмокшую глотку, и эхо отвечает длинным «Ты-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы!..» Я хочу крикнуть: «Кому не спится в ночь глухую?», но к реке некстати приходит отец.

Первым делом он полощет с берега рубаху и носки, потом, зайдя по пояс, драит шею и грудь, где в густую поросль волос натрусилась сенная труха. Вот тяжело, как лось, оседает и плывет.

За ним к реке спускается дед. Становится на корточки, черпает ладошкой и, как котенок лапой, возит по лицу.

— Хорошо, б...а! — блаженно кряхтит и для полноты ощущений сплевывает в реку. — Ты, Андрюшка, далеко не заплывай! Ишо захлебнешься...

— Зака-аркала ворона! — Отец от греха поворачивает к берегу.

— Я не каркаю, я знаю! Воронка или мало ли че? Мне девять лет было — засосала, родная! Спасибо, ребята постарше были на берегу — вытащили. С тех пор не...

Заплываю так далеко, что уже никого и ничего не слышу, но по отчаянной жестикуляции с берега догадываюсь, из-за чего сыр-бор. Отвернувшись, плыву все дальше и дальше, за красный буй, обмирая от страха и восторга, и то нырну солдатиком, меряя глубину, то что есть мочи гребу вразмашку, а то, распластав руки-ноги, как скат, справляюсь на спине и смотрю сквозь мокрые от воды ресницы на большое синее небо с ширящимся кружком по центру. Шатаюсь, спотыкаясь, покрывшись сыпкой гусиной кожей, выхожу из воды только тогда, когда отец надевает высохшие на камнях, точно на угольях, рубаху и носки, а дед нетерпеливо маячит у костра.

Купанием словно вымыло живот, и в его звенящей пустоте кто-то клацает зубами. Кажется, стрескаешь поросенка — и не заметишь.

На угоре, под пышным кустом ольхи, сколочены из досок стол и лавка к нему. Вторым сидищем служит здоровенная лесина, приплывшая с большой водой да так и завязшая в кустах корявой вершиной. Эта коряга во всякое половодье защищает наш стан от других проплывающих топляков, заодно славливая их и всякое другое хламье, которое мы потом употребляем на дрова. С одного конца в лесину вбита стальная бабка, на которой оттягивают косы, а другой весь в расщепе — здесь рубят на растопку дрова. После обеда на лесине можно даже полежать — так она толста и широка.

Тучные дед, отец и дядя Коля сидят на лесине, мы с Мишкой — на лавочке, ножки которой — неошкуренные ольховые колышки — проросли и, выстрелив по весне почками, развязались пучками зеленых перышек. На столе лежат свежие огурцы, перистый лук, хлеб, сало, вареные яйца; стоят баночка с творогом, кастрюля с тушеной картошкой — все, что дают нам двор и огород. На сенокосе мы себе не готовим, чтобы не терять времени, все это собрано руками моей бабушки. По старой привычке,

может быть, известной человеку с момента его появления на свет, сперва разглядываем яства, словно прицеливаясь, и лишь потом, не сговариваясь, начинаем есть. Старшие едят жорко, особенно дядя Коля. Брызжет с уголков его рта зеленый сок батуна. Но уж в чем в чем, а в этом я не плетусь за дядькой по пятам и азартно, едва прожеывая, орудуя ложкой и руками. Дед меня всячески поддерживает:

— Ешь-ешь, Андрюха, а то пырка не вырастет!

Когда животы затарены до отказа, на стол, как чумазый хан Батый, взгромождают закопченный ведерный котел с чаем. Бьет в ноздри листом смородины: дядя Коля постарался, напарил для вкуса. Хлеб-сало сменяют шоколадные пряники и дешевая карамель. Отец довольно потирает живот:

— Как раз осталось немного места для сладостей! «Орехо-со-е-вы-е...»

После обеда с полчаса можно заниматься бог весть чем: отдых. Лучше бы, конечно, поспать, но если час назад я и думать об этом не смел, то сейчас сон и калачом не заманишь. Дядя Коля, зевая, сидит за столом; отец, механически скручивая и раскручивая конфетный фантик, — на земле; дед, треща ветками, исчезает в кустах. Все молчат, думая о своем, каждый, наверное, радуется короткой передышке в этой запыленной жизни. Только Мишке не сидится, и он загодя отбивает литовку: тюк! тюк! тюк! Тюканье молотка кажется чем-то неземным в эти минуты тишины и покоя.

Тюк! Тюк! Тюк!

Солнце, как желтый бакен, маячит в небе, словно призывая всех подивиться его яркости и безудержности. Но мы сидим в тени, нам оно уже не страшно, и я смотрю на солнце с легкой иронией. На таган воскрылила красная бабочка, за ней — лимонная... и вот уже вся жердочка в разноцветных прищепках. Вот снялись и полетели: это я, дурачась, кинул палку в прогоревший костер и поднял на бабочек облако остывшей золы...

Тюк! Тюк! Тюк!

Оттянув литовку, Мишка ловко правит ее бруском, вжикая по светящейся кромке лезвия. Дядя Коля, совсем было закемаривший, вмиг просыпается.

— Это (в каком году? в семьдесят восьмом, кажись?) приехала из города бригада студентов — помочь сено косить. По пабереге тоже; ну, кусты, вымоины — тракторами не возьмешь... Я на «сто тридцатом» работал тогда, ага. Привез одну партию — несколько парней — сюды вот, на Дресвяный. Дяшка Никанор был у них за главного, ага. Но отбил он им литовки; спрашивает: лопатить-то, мол, умеете? Все покачали головой, а один дурачок выскочил: че, мол, не уметь?!

Дядя Коля крупно, всем ртом, сплюнул в сторону.

— Но дяшка Никанор дал ему брусок: на, дескать, лопать! Тот взял. Косу, правильно, косовищем в землю воткнул, да надо было аккуратно, а он — р-р-ра-аз! со всего маха! — и два пальца на руке срезал до самых костяшек! Заорал, правильно, кровяща полилась... Ну, чума чумой!

Возбужденный воспоминанием, дядя Коля снова сплевывает. А у меня после его рассказа что-то как будто обрывается внутри, я в ужасе кошусь на Мишкину литовку и от греха прячу руки в карманы.

— Ягода-то еще есть по ручью? — приковылял дед, на ходу застегивая распаряху. — Не всю еще вырвали голодящие?!

— У-у! Хоть каждый день бери.

— И брали бы! — Дед разом вспыхивает, как будто того и ждал. — Дак сахар сколь рублей стоит?! Варенье жрать не захочешь, не только что... И почему это за ценами никто не следит? — вопрошает тоном прокурора и строго смотрит на нас. Я трушу его взгляда не меньше, чем Мишкиной литовки. — Каждый вертит, как хочет, а об стариках думы нет...

— Кого вертит-то?

— Гузно кобылье — вот кого!

— Кто на седнишний день смотреть будет? — отец ударяет ладонью по железной кружке. — Частное предпринимательство. Рынок!

— Ну дак! — поддерживает брата дядя Коля. — Это раньше другое дело было — все государственное. А ща-ас...

Деда это ни грамма не утешает. Он наливает чаю, отсыпает, постукивая по баночке, желтоватого свекольного сахара, но оставляет кружку, сметает рукавом конфеты на середину стола, а сам, положив локоть на угол, притуливается сбоку — для дебатов.

— А вы зачем тогда нужны?! — задает коронный вопрос. — Зачем мы вас с баушкой кормили, растили, учили, а?! За-а-чем?! Ответьте мне!

— Ну — политикан, ну — завелся с пол-оборота! — соскакивает отец, начинает нервно обуваться, хрустя кирзовыми голяшками. — Не хочешь жить — ложись и помирай! На седнишний день — так.

— Во-во! — срываясь на визг, дед протыкает воздух кулаком. — Такие вот дуrolобы и загонят матушку Рассею в гроб!

— Кто загонит?!

— Да хватит вам! — осаживает спорщиков Мишка. — Забазлали! На той стороне слышать...

— Ты, Миша, только послушай, что она говорит?! — Дед, чтоб уязвить сына, отзывается о нем в женском роде. — Ложись, говорит, ветеран труда, и подыхай! А что я вот с таких лет в поле, да в холоде-пыли, катаракту нажил, геморрой заработал на газочурковом тракторе... Это им наплева-ать!

— Никто твои заслуги не принижает!

— Пенсию-то я должен получать?

— Ну и получай ради бога, кто тебе мешает!

— Дак я сколь времени проживу на нее?! Неделю-то продюжу, нет ли?!

Отец, не найдя слов, с досады морщится, а дядя Коля и вовсе дремлет, скрестив босые ступни и время от времени потирая ими, чтобы согнать паута или кузнечика. Но молчание только раззадоривает деда.

— Вы гляньте, сколь мука стоит — покупать не захочешь, не только что! Каждый торгаш цену гнет, выгоду ищет. Стариков обманывать, у нищих воровать?! Это куда дело годится!

— Пиши Ельцину! — встрепенувшись, во все горло ржет дядя Коля и с подвывом зевает, пуча красную мокрую пасть. — Так, мол, и так, вышли десять кулей муки!

— Я бы написал! Я бы ему все выгвоздил! Я бы не сидел, хвост прижав, как некоторые...

— Обращался один! — не унимается дядя Коля. — Улучшилось положение. Вчера письмо прислал: в тюрьме сидит...

— Да бросьте вы! — обижается дед. — С вами ладом говоришь, а вы ерундовину строчите...

— Ты лучше спроси, как мы нынче сено вывозить будем с этой стороны. Машины найми, бензином заправь, за путевку на паром уплати, да капитану поставь, плюс на стол собери... — Отец еще и еще загибает пальцы. И объявляет: — Золотое молоко получается!

— Скоро ничего не будет! — зло восклицает старик. — Горбач начал, а этот карась большемудрый прикончит. Помянете меня: правильно нам говрел дедушка, только мы, полоротые, не слушали его...

— Ну — надо идти! Ну — заве-ел панихиду!

— Я знаю, что говрю. Троха пол-СЭ-СЭ-ЭРА прошел, Троху хрен обведешь!

Наконец отец сдается. Обувшись, раз и другой притопнув сапогами, он стоит, заложив руки в карманы, и молча глядит под ноги, как видно, думая о чем-то таком, что до поры откладывал в дальний ящик, чтоб сильно не зудело, не шпыняло тогда, когда и от других мыслей запирайся на семь замков. Но вот и времений стало нельзя...

— Да-а. Конец деревне приходит! Поставили крестьян на вымирание. Щас еще введут земельный налог — и все...

— Взорвать! — уверенно советует дед. — Швырнуть бомбу в эту Думу, чтоб не изгалялась над народом!

— Какой смысл?! Большевики уничтожили царизм — и что? На смену одним дармоедам пришли другие. Так же и здесь... Еще одну революцию устроить хочешь? Мы от тех-то еще не оклемались. Вспомни-ка, давно ли Верховный Совет расстреляли из танков...

— Я никакую революцию городить не буду! Просто швырну бомбу — и все...

— Ему одно, он тебе другое! И что ты этим скажешь? Тебя же, учти, к ответу призовут.

— Пускай призовут, пускай-ай! — старик поспешно встает, как будто ему уже сейчас — отвечать. — Спросят меня: ты зачем, дедушка Виталий, комедию сочинил? А я им скажу!..

— Придут другие, опять из нас кишки тянуть будут. Надо переждать, пока рассосется. А орать да взрывать на седнишний день ничего не даст.

— Ну ждите-ждите! — снисходительно посмеивается дед. — Завтра камни исти будете!

— Не помрем! Лишь бы здоровье было — остальное меня не волнует. Пока сам не пошевелюсь, никто мне на блюдечке не поднесет... Гайдар, что ли, сена мне накосит?

— Я не об том говрю, что кто-то должен тебе сено накосить. Только до каких пор эта потеха продолжаться будет, что всякий у тебя последний кусок вырвать норовит?

— Долго еще! Пока каждый депутат особняков себе не понастроит да в зарубежные банки денег не направит...

— Во-во, правильно ты говоришь, Саня! — радостно соглашается старик. — И я говрю: скинуть бомбу с самолета — и все, всех-то делов!

Мне вконец надоедает их перебранка, я беру спиннинг и иду к реке. А за спиной вскипает новая буча. Громче других выделяется истеричный голос деда. Но я стараюсь сразу забыть обо всем, полностью уйдя в рыбную ловлю.

## VI

Спиннинг у меня особый — выстраданный. Через мои горячие слезы мать на последние деньги купила его в городе у толстого армянина, который ради такого судьбоносного момента скостил цену и даже, проникнувшись, подарил мне моток лески и набор любительских блесен. Удилище у моего спиннинга из прочнейшего желтого пластика, а ручка — деревянная, резная, ярко-зеленая. Спиннинг в два раза длиннее меня! Я уж владею им почти в совершенстве. Нет у меня вещи дороже. Вот только не фартит мне пока с рыбалкой. Одну-единственную щуку поймал я за всю свою сознательную жизнь. И произошло это нынешним летом здесь, на Дресвяном лугу. Старшие косили у ручья, а я без усталости сек и сек Лену прозрачной жилкой, но в лучшем случае ловил тянущиеся стебли водорослей. А когда совсем отчаялся и перестал даже помышлять о добыче, на леске повисло что-то тяжелое. «Опять трава! — уныло подумал я. — Вытащу и пойду к костру». Но каково было мое изумление, когда, обратив взгляд на реку, туда, где леска стригла воду, я увидел светло-золотистую щуку. Рыба

всплыла на поверхность и покорно, все равно что коряга, следовала за металлической обманкой, однако ближе к берегу заволновалась, взбурлила винтом и стала показывать «свечки». Ошалев от радости, я на буксир выпер ее из реки и, опасаясь, что упрыгает обратно, шваркнул камнем по голове, как это делал дядя Коля, а затем, прижав драгоценный улов к груди, со всех ног бросился к табору, с восхищением думая о том, как сразу всех своей рыбацкой удачей...

Сегодня мне опять не везет. Разгар дня, жарко, рыба таится на глубине. Лишь иногда плюхнется у кустов за неосторожной мушкой серебристый елец. Без особой охоты метаю в реку медную рыбку и, не надеясь на успех, равнодушно сматываю леску. Босым ногам горячо на щербатых жгущихся камнях, захожу в воду, до колена закатав штаны. Не проходит и минуты, а возле меня уже табуняются всевозможные мальки, среди которых выделяется оранжевыми плавниками задиристый окушок. Макаю блесну в самую гущу, и рыбки в панике пускаются наутек. Душно, затхло пахнет тиной, сплунутой волнами на берег, в бестечье за брустверами киснут, выделяя углекислый газ, завалившиеся на бок заросли бритких, как осока, водорослей. Река цветет, островками и небольшими полянами зеленеют над мелководьем облепленные улитками продолговатые бурые листья. И уже крутит на течении пучки отгнившей речной травы, которые на Лене называют по-эвенкийски нйшей, и это верный признак того, что исподволь подкрадывается осень. Но августовский день высок и светел, в кустах порхают трясогузки, в траве строчат свою песню кузнечики, а в воздухе, то слетаясь в стайку, а то рассыпаясь порознь, витают бархатные на ощупь желтые, красные и фиолетовые бабочки — и жалкие обрывки мертвых водорослей не оттеняют радужной картины.

Вот из прибрежных кустов, из надувившего осокой кочкарника, выплывает на середину затончика гоголиха с утятами. Вот мать, выгнув шею, исчезает под водой, а выныривает уже по ту сторону залива, у длинной каменной гряды. Тегая, шлепают за ней неотлучные утята, которые уже встали на крыло, но по-прежнему живут с матерью. Сделав несколько кругов, птицы утыкаются в берег, должно быть, щипывая ряску. Зажмуриться на миг — и уже, пожалуй, не отыскать дышащие трепетные тельца на однообразном безжизненном фоне. Осторожно, стараясь не потревожить утиное семейство, зацепляю блесну за среднее пропускное кольцо спиннинга, иду на стан. И вдруг за моей спиной, словно в насмешку, ударяет по воде крупная щука! На мгновение река отзывается пульсирующими кругами, но и те, напластываясь одно на другое, на глазах рассеиваются, словно кольца табачного дыма. И снова — синь, стекольная гладь воды, жара да тишина, в которой, как шмель в бутылке, роится рев заведенного мотора: дед с Мишкой поплыли за остроинами...

## VII

Острбина — длинная крепкая жердь, что-то вроде оси, которую вкапывают в землю, комлем вниз, а чтобы надежней стояла, обтыкивают по кругу кольями. На остроину, как пряжа на веретено, кладется-наматывается сено. Каждое лето мы ставим новые, потому что весной ленивые рыбаки рубят и жгут прежние. Плавать за остроинами нужно на соседний берег, где лес. На этом тоже лес, но топать к нему аж через все широченное совхозное поле, засеянное овсом, и если считать путь в оба конца, то угрохает не меньше часа. А тут едва лодка взбороздила реку, как раздается стук топора. И вот уже «казанка» с Мишкой и дедом жужжит обратно. Словно острия копий, нацелены на отца, дядю Колю и меня вершинки сосен. Помогаем вынести на берег, волочим, взвалив за спины, на угор, где поднялось, вздыбась валками, светло-желтое море молодого запашистого сена, которое дошло в самый раз, не сопрело, но и не

пересохло, и потому не ломается под ногами, а мягко, почти неслышно сминается длинными травинками.

Страх берет от мысли, что со всей этой прорвой надо совладать!

Но глаза боятся, а руки делают. И вот отец вешает на сук рубаху — белым флагом будет она трепетать для нас на ветру, когда, голодные, усталые, поплетемся вечером к костру. Дядя Коля, подмигнув, на две дырки подтягивает ремень, от чего живот выпирает еще больше, так, что между пуговками виден пуп. Мишка с дедом идут ставить остроины. Первую, как всегда, определяют неподалеку от стана, в низинке. От нее, как по ниточке, до самого ручья выстроятся вдоль дороги наши копны.

— Забывай, Миша, почаще, а то как бы не сковырнулась! Видишь, какая!.. — распоряжается дед, облапив обеими руками толстую тяжелую жердь, и с опаской поглядывает на качающуюся вершину.

— А я говорил: давай потоньше рубить! — психует Мишка и бьет хряско, коротким тупым ударом топора. — И куда все время торопимся?!

— Потоньше, так она трюхи жидковата будет, Миша. Поведет копну, завалится!

— А эта шибанет по башке: ума нет, считай — калека!

— Так ты осторожней, Миша! Сдуру можно не только что... Забыва-ай!

Вот и остроины как тут и были всегда! Сейчас начнется ломовая работа.

Отец вынимает из кустов вилы с массивным черенком, за ним вооружается своими — легкими, сподручными — Мишка. Мы с дядей Колей должны сгрести валки в один большой вал, а уж Мишка с отцом, по обыкновению, носят в копну. У остроины поставлен дед. Он руководит меткой. Грузный старик топчет сено долго, основательно, копна, как тесто, расплзается в лепешку, и трудно поверить, что из нее что-нибудь выйдет. Работа, едва начавшись, застопоривается. Стоят с навильниками на весу отец с Мишкой, замерли с граблями в руках мы с дядей Колей, ждем не дождемся, когда дед крикнет: «Подавай!» Но он, кажется, забыл заветное слово. На четырех лапах, как медведь, крутится и крутится вокруг жерди, да не абы как, а по часовой стрелке, как раньше сгрест валки в одну линию и как вообще все на своем веку делает сообразно с какими-то одному ему известными расчетами. Минута, другая — а дед все припрыгивает, да уминает, да затыкает ямки, да кладет сверху пласт на пласт, чтобы лучше слежалось, сомкнулось плотно, как тес на крыше, и осенью, в сезон дождей, не дало течь. На деда шумят, покрикивают. Только ему на это наплевать. Он сверху отвечает такой тирадой, что, наверное, в области слышно. Наконец машет: подавай!

Мишка берет сено аккуратно и не очень много, чтоб не надсадиться, не вымотаться зараз, но разумно распределить свои силы. Отец ворочает, как трактор. Сначала складывает в одну копенку, громоздится на нее, топчет, совсем как дед, и лишь затем пронзает вилами, упирает черенок в землю — и рывком выжимает над головой. Гнется, как коромысло, упругий черен, у отца подкашиваются ноги, дрожат руки! Сгорбившись, он идет к растущей копне и погребает деда по самые плечи. Старик визжит, брызжет слюной, насылает на сына грыжу, а тот, покачиваясь, торопится за новой ношей. Но рассудительней всех дядя Коля, который привез из дома стропу — длинную, метров двадцать, капроновую ленту. Он сдваивает ее, постлав на землю, и в несколько бросков сноровисто нагружает кипищу, еще больше той, под которой пыжит его брат. Захлестнув петлей, беремся за концы — дядя Коля за один, я за другой — и утягиваем, пока не сдавится наполовину, а уж там впрягаемся, как ломовые. Сзади, упершись вилами в наш воз, толкают Мишка с отцом. За один раз сена стрелевано столько, что минут пять, пока оно метается, можно отдохнуть.

Копна медленно, но уверенно растет. Вот уже и вилы коротки, неудобно подавать. Дед трусит оставаться наверху. Он ложится, закрывает глаза и с обреченным видом сползает по копне.

— Держите!!! — кричит надрывно.

Его со смехом подхватывают, ссаживают на землю. Старик, жалуясь, встает на ноги, куда от страха ушла его душа.

— И куда тебя, дедушка, гонит? — не ища ничьей жалости, рассуждает сам с собой. — Попивал бы сейчас чай с мармаладом или прогуливался по угору в ботиночках, как студентик...

Я ловлю глазами взгляд отца: можно?

— Ладно, давай, — отец вонзает вилы в середину копны. Я цепляюсь за черенок, под зад меня страшит Мишка. И вот уже я, как белка, вскарабкиваюсь на верхотуру. Встаю — и крúгом голова: высоко! Снизу протягивают вилы. Плюю на ладошки.

— Середку больше набивай, — советует отец. — Да за остроину держись, а то упадешь...

Больше ничего не вижу и не слышу: отец засыпает меня с головой. Я смеюсь, чи-хаю и сначала не очень споро исполняю свою работу. Меня, как деда, поторапливают. В тон старику ору благим матом:

— А не утопчешь, прольет дождями — опять переметывать?! — и уже категорично заявляю: — У меня времени не-ет!

Дело подвигается к завершению. Оставаться на копне — наверьше мять. Сбрасываю вилы и с криком «Разойдись!» скатываюсь следом. Но что за уродство?! Вместо прогонистой ладной копны, какой она мне виделась сверху, передо мной словно чучело Зимы, слаженное ребятней на Масленицу, — чиркни спичку да поджигай. Незамедлительно делюсь своими переживаниями с дедом.

— Не все сразу — оскребем, — успокаивает старик и граблями очесывает копну с середины донизу.

Выграбленное сено Мишка замetyвает вилами на длинном черенке. Неряшливый уродец превращается в церковный купол. Даже солнцу приятно передохнуть на таком — огненным петухом примостилось на кончике остроины.

— Ну вот, одна есть! — улыбается Мишка. — Можно и перекурить.

Садимся на пригорке, подле смородины, днем дававшей густой напревший аромат, а под вечер пахнувшей свежо и остро, как вода в колодце или взрытая земля. Только дед еще возится, черенком вил подсовывает под копну клочки сена, утрамбовывает и охаживает, смеаясь все так же по ходу часовой стрелки.

— Все-то он поглаживает, все-то он похлопывает! — заливается дядя Коля. — Как по м...е ладошками!

Дед отпускает сердитый матерок, но тоже не может сдержаться: хихикает.

— Потеха!

Отец недоволен, выкусывает заусенец на пальце.

— Ты готов все сено стаскать в одну копну! — подзадоривает Мишка.

— Я бы вообще зародами метал!

— Раньше так и делали, — с хрустом подсаживается дед, подгибает под себя ногу. — Замetyвали сено на деревянные сани, зимой — по снегу — вывозили. Сани с лета на чурки ставили...

— Зачем?

— А чтобы полозья не примерзли. Не сдернешь, если пристынут. Несколько тонн-то! Попробуй-ка. — Громко, с подвывом, зевает. — Или на волокушах вывозили. Свалят две-три березы вершинами вместе, в комлях центровкой просверлят, трос продернут... — Это уже для меня, чтобы знал, как да чего было. — Намегают зарод, потом вывозят — по снегу ли, по земле ли. Все больше зимой, конечно, занимались. По черной земле — до самого-самого изотрется. Хотя ее, волокушу, все равно на дрова пилили. Второй раз не поедешь с ней...

— Почему?

— В лес кто дерево повезет?! — как глупому, разъясняет Мишка. — Думать надо!

— Вымирает народ. Все уходит в прошлое. Написать бы об этом — сколько у меня материала! — да грамотешки не хватает...

Отец по старинке наивно верит, что «грамотешка» дается в городе, в университетах, и что тамошние ученые мужи о происходящем в деревне знают не хуже него, и тягаться с ними ему, лесному пеньку, нечего, так, черкнуть статью в газету...

## VIII

Близится вечер. На западе по окоемку горизонта проползает медная змея заката. И уже шуршит на скошенной поляне.

— Змея!

Один прыжок — и Мишка тут как тут, прижимает кирзовым сапогом.

— Найди бутылку!

Момент — и я на берегу; а вот уже подрываюсь назад, на ходу скручивая пробку.

— Поставь и отбеги!

— Оденьте ей горлышко на голову — она и заползет...

Змея извивается, пружинит всеми своими кольцами, грозит вырваться из плена, но лишь только голова оказывается в бутылочной горловине, сама действительно затекает внутрь. Мишка заворачивает крышку и бросает бутылку мне.

— Растопим на солнце, забодяжим приваду, а зимой будем соболей капканить.

Свернувшись клубком, змея с ненавистью смотрит на своих врагов, шипит и пытается укусить там, где я постукиваю пальцем.

— Тоже жить хочет... — по-своему сочувствует дед.

— Ну дак! — соглашается дядя Коля. — Тебя бы так!

— А что, мне лучше?..

Ставлю бутылку на солнце.

— Это ты же рассказывал, дядя Коля, как змея тебя в болотник укусила?

— Но! — подтверждает дядька. — Тоже — по ягоды ходил. Високосный год был, как щас помню. Змей — пропасть! Я бродни расправил и хожу вдоль Перевесовских валов, смородину собираю. Как она меня не заметила? Я ей на хвост наступил, а она меня в болотник — р-р-ра-аз! — куды там, не прокусила! Только белые капельки остались...

— Че это? — интересуется дед.

— А яд.

Молчим. Тишину тревожит старик:

— А вот я случай помню! Это я еще мальчишкой был. Нас много, ребяташек, косило здесь вот, на Дресвяном. Дед с нами был за главного; лет девяносто было ему, а он все косил... Вот взялся он вечером литовки отбивать; я — пособлял, косовища держал, другие-то ребяташки спали уж... — Дед чешет переносицу, потом большую, с отросшим волосом, черную родинку на крупном носу. — А тут змея! Как из-под земли, честно слово. Я-то ее вижу, а дед (забыл, как зовут) спиной сидит... Мне бы сказать, предупредить — да я как язык проглотил! А змея залезла деду в ичиг — тогда круглый год в ичигах ходили — и укусила. Нога к утру распухла, ичиг разрезали...

Дед замолкает, сморкается в скомканный платок.

— А со стариком что стало?

— Умер. На лодке мы его сплавливали в деревню. — Старик тяжело, бочком, переваливается, встает на локоть и только затем, кряхтя, поднимается на ноги. — Пойдем, однако. Времени у нас мало, а работы — хоть отбавляй...

## IX

И опять — работа! Мы гребем, носим, метаем, выбиваемся из сил. Кажется, ничто нас не может отвлечь: так втянуты мы в этот кропотливый труд. Едва завершаем третию копну и дед объявляет привал — как сбитое с ветки осиное гнездо, падаю на землю, и мнится, что дух из меня — вон... «Будем сегодня метать или уж завтра? Хорошо бы завтра, а сейчас — домой! Нынче суббота, банный день. Приятно после бани полежать на диване, посмотреть, как в телевизоре копошатся доны, доньи и доньчата, занятые каким-то смешным трудом. Дон Педро, дон Карлос, дон Эсперанса!.. Дома прохладно, квас в холодильнике. Окрошку, наверное, мама сгоношила к бане...» Но все мои надежды идут пропадом, когда, словно из преисподней, раздастся зевластный голос деда:

— Солнце еще не село, сметаем одну во-он у той березы...

Канючу:

— Ну дед!

— Что дед?! — гнутся брови-подковы.

— За-автра!

— Тихо! — Мишка настораживается. И первым встает: — Восемь часов — «Благовещенск» идет.

Да, это он! Каждый вечер он проходит мимо Дресвяного ручья, маня и распалая мое детское воображение. Еще не видно, но уже отчетливо слышно, как он идет-гудит за поворотом, летит-доносится крылатая музыка. И тем непривычней она здесь, где только шуршание сена да тяжелое, учащенное дыхание работающих на износ людей. Вот медленно, величаво является нашим взорам, огромный и белый. Уже можно прочесть имя, написанное на боку большими буквами: «БЛАГОВЕЩЕНСК». Он вещает благую весть. О чем она, эта благая весть? Господи, мне неизвестно. Но всякий раз, как я его увижу, у меня спирает грудь, сжимает сердце. О, как бы я хотел плыть на этом теплоходе! Я с завистью смотрю на него, на все эти кружки, линии, стекла, выбранные черные якоря, но больше на счастливых беспечных пассажиров, которые гуляют по палубе, бросают монетки в воду и пьют из сверкающих фужеров. А в голове моей толчками взволнованной крови фонтанирует мысль о какой-то иной, неизвестной доле. Но ведь и в самом деле, что я видел в свои неполные тринадцать лет? Каким одиноким я себя чувствую в этот миг на душной и затравленной, поставленной, как говорит отец, на вымирание крестьянской земле! Сколь мелки и незначительны, сколь бессмысленны и беспросветны дни моего однообразного деревенского существования, когда, словно двухэтажный дом, плывет мимо многоокий теплоход и люди на его борту пьют из дорогой посуды дорогие напитки. А «Благовещенск», как бы нарочно красуясь передо мной, так и скользит по голубому коридору реки. Шлепают «лапти», под напором воздуха проклевывается, словно птенец из яйца, красный колпачок над тонкой трубой, и реку, и луга оглашает громкое приветственное «гу-гу-у-у».

— Бла-го-ве-щенск! — шепчу запекшимися губами.

Теплоход загребает к нашему берегу, где глубже, и вот-вот, чудится, черканет железным брюхом о каменную кромку. Уже и пассажиры видны так ясно, что малым усилием глаз можно угадать их черты. Вот большой важный человек в белой сорочке, правая рука, согнутая в локте, держит снятый пиджак; вот босая красивая женщина в голубом платье; а чуть в отстранении, лицом к заходящему солнцу, — пожилая пара рука об руку, так разительно непохожая на моих бабушку и деда... И тут мой жадный взор напарывается на худощего, как и я, мальчишку: на голове — желтая па-

намка, в руке — мороженое, которое, разумеется, закупили еще в городе, потому что у нас в деревне мороженого нет, а потом хранили для этого мальчика в специальной морозильной камере... Нет, вот он не так ест, как надо, лизнет раз-другой и пялится на нас три часа! Я бы, конечно, не стал размузыкивать. Я не вижу, но догадываюсь, что мороженое, подточенное солнцем, капает на корму, и от этого мне становится не по себе, как будто само мое сердце иссыкает по капле. На мальчишке пижонские сандалики — и я с вызовом ложного превосходства смотрю на него, небрежно сжевая на горячую резину сапог липкую слюну, которая почти сразу запекается молочной пеночкой. Мне хочется крикнуть желтой панамке что-нибудь обидное, но я не знаю, чем можно обидеть городского мальчишку.

Завороженные, смотрим на теплоход, как на загадочный призрак, судно с другой планеты. Отец козырьком приложил ко лбу ладонь, защищая очки от света. Временами он впечатленно хмыкает и рубит воздух рукой. Дед оперся о черенок вил и щурится на «Благовещенск», но у этого, как известно, своя печаль:

— Интересуюсь, сколь билет стоит на эту хреновину? Поди, наши с баушкой две пензии!

Мы не обращаем внимания на старика, потому что женщина в голубом (наверное, мать этого мальчишки) помахала нам рукой. Дядя Коля снял засаленную кепку и со смехом трясет ею в ответ.

— Приезжай к нам! — кричит, сверкая белками озорных глаз. — На рыбалку пойдём с ночевой!

Женщина тоже что-то кричит и весело смеется.

— Лаптежник! — презрительно говорит Мишка. — И смотри, дядя Коля, бегают еще!

— Ну дак! Тебе скипидару налить в одно место — тоже побежишь!

— Такие не делают теперь... — роняет отец, и его литые, словно бы обуглившиеся плечи оплывают густым соленым потом.

Дед поправляет свою косынку.

— Я тоже плавал! Парнем ишо. Собрались с Михаилом Шишкиным в Якутск — учиться на сапожников. Председатель, Мишкин отец, выписал нам справки... А в Осетрово грузили баржи, вот мы воровски пробрались на пароход «Полина Осипенко» — денег-то на билет не было, — откуда они, деньги? — спрятались за ящиками... — Дед тоненько, с матерком, смеется. — Нашли нас, хотели ссадить на берег. Ну, как-то упростили капитана... А пароходы-то на дровах ходили, вот мы с Шишкиным целыми днями и ночами кидали швырок в топку. Двадцать два дня плыли! А через полгода возвращались — в рубашке да в кальсонах. Под Киренском снег пошел, вот-вот шугу понесет! Ладно, доскреблись кое-как. Я-то в Казарках слез, а Шишкин до Осетровой проплыл — стыдно ему было в деревне в таком виде показаться, а в Усть-Куте у него тетка жила. Помню, пришел я огородами к дому родителей — худой, обовшивевший, в руках — фанерный чемоданчик... — Дед некоторое время молчит, должно быть, вернувшись в памяти к истоку жизни, протекшей, как эта река, но нет в его глазах ни печали, ни сожаления, и заканчивает он жизнеутверждающей моралью: — И сапожниками не стали, но свет повидали!

Я не слышу старика. Я, как пьяный, смотрю на теплоход, и хотя тот уже далеко, в воздухе все еще живет его музыка, в реке зыблются поднятые им волны, а на фарватере белеет пенный шлейф. Но вот и «Благовещенск» скрылся за лесом, а за ним и вечернее красное солнце забредает в Лену по впалые бока. Мы молчим. Молчит луг. Только в траве ведет свою песню-стежку саранча да в затоне, охотясь за рыбешкой, молотит хвостом жирующая щука. И вдруг — «гу-гу-у-у...», но уже грустное, прощальное. Я срываюсь, бегу, падаю, расцарапываю голое тело о ветки шиповника. Но нет больше теплохода, нет счастливых людей, нет женщины в голубом платье...

— И куда этот поселенец побежал? В Пушино?! — настагает и бьет по ушам истошный крик деда.

...Мишка находит меня на бруствере, садится рядом. Пуская блинчики, с интересом считает касания. Долго смотрит на воду.

— Светлеет Лена... К сентябрю вообще прозрачной будет, как родник. Белая блесна уже не пойдет — красную надо. Или желтую, из латуни. У тебя есть латуневая?

— Нету.

— Подгоню по блату. Я до армии занимался — делал такие. Есть там одна уловистая — сколько шук перетаскал на нее! Мне-то она... Пойдем, а то они будут возникать!

И Мишка первый стучит сапогами по камням, ломает в руках сухую травинку.

«Подожгу все их сено...» — рождается во мне злая мысль, но уже через миг я стыжусь ее. Молча встречают меня дедушка, отец и дядя Коля, но ни о чем не спрашивают. Так же, безмолвствуя, идем к ручью. Пошатав для проверки последнюю остроину, иголкой воткнутую в зеленое сердце земли, дед бормочет:

— Живут же люди...

И — только шорох усохших трав, симфонический стрекот кузнечиков да рефлексивное движение граблей. Из-под вздыбленного вала поскакала большая желтая лягушка. Я посадил ее в пенопластовую чашку из-под китайской лапши, прикрепил бумажный парус и доверил ручью. Мой самодельный кораблик припустился по волнам, ловко увертываясь от коряг и склизких, покрытых тиной камней.

— Плыви в Тикси! — сказал дядя Коля.

## Х

Этот мир устроен неправильно — во всяком случае, он создан не для меня. Лишь с заходом солнца проклятая мошкара оседает в траве, и когда в ушах наконец смолкает надоедное гудение, мы отчаливаем домой. Лодка, влекомая «Нептун» в двадцать три лошадиные силы, летит как стрела, встречный ветер обтекает наши пыльные соленые лица, и если отпахнуть рот, воздух звенит на зубах, как в горлышке пустой бутылки. Вот она, долгожданная прохлада! Солнце скрылось; в горниле таежных распадков дошаивают алые головешки. И уже синие сумерки марают стволы деревьев и кромки берегов, днем раздвоенных живой лентой реки, а к ночи смыкающихся в одну сплошную мерцающую полосу. Светит на небосклоне первая звезда... Дед лег на дно, укрылся телогрейкой и посвистывает. Не замечаю, как и сам начинаю клевать носом.

И снится мне белый теплоход. Он плывет по утренней реке словно при вздутых парусах, полный дерзких помыслов и надежд. По палубе чинно прохаживаются нарядные красивые люди, отмеченные счастьем быть на этом судне. Они смеются, пьют из бокалов и наслаждаются музыкой из репродуктора. На носу теплохода, светла и задумчива, стоит женщина в голубом платье, и речным воздухом колышет ее распущенные волосы. Хрупкий смущенный мальчик прижался к ней. Плещется за кормой вода, проносятся редкие осенние листья, по обеим берегам высятся сопки и желто-красные леса, изредка мелькнет за поворотом какая-нибудь деревушка. Вот потянулись чередой покосные луга: дощатые балаганы косарей, пики остроин, серые от прошедших дождей копны... Один из лугов мальчику как будто знаком, а люди на скошенной поляне даже машут ему руками, но так, точно навек прощаются с ним. И мальчик узнает этих людей! Он поднимает руку и тоже машет. Играет музыка, шлепают «лапти», но и сквозь шум долетают с берега слова: «Будь счастлив, милый, в той далекой стране!»

Тут я просыпаюсь и чуть не плачу. Мне очень жаль этого мальчика. Дед расценивает мою тревогу по-своему:

— Замерз? Давай под стежку...

В темноте «казанка» упирается в камни, как раз напротив бабушкиной избы. Дед корячится, кричит, спросонья не может вылезти из лодки.

— Ты так скоро и на бабу ногу не закинешь! — хохочет, содрогаясь животом, дядя Коля.

На лавочке, как всегда, сидит в одиночестве бабушка: ждет. С нашим появлением встает — руки скрещены на животе, связка ключей оттопыривает карман старой выцветшей кофты, надетой прямо на платье. Подсобляет — берет у старика весла.

— Че, баушка... как картоха? — наладив сбившееся дыхание, первым делом спрашивает дед.

— Несколько кустов подкопала — две-три балаболки...

— Худо. Картоха — продукт!

Я иду позади всех. У ворот нарочно мешкаю и смотрю туда, куда зашло солнце. Темно. В небе лежат крупные звезды. За рекой, на опушке леса, загорается длинноногий створ. Красный огонек призывно мигает уставшему миру.

И тут я с неизъяснимой ясностью понимаю, что вместе с теплоходом, ушедшим вверх по течению, закатилась за горы часть моей жизни и что такого дня, как сегодня, больше никогда не будет.